

УДК 8138

ИЗ НАБЛЮДЕНИЙ НАД ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИМИ ОСОБЕННОСТЯМИ РОЗАНОВСКИХ «ЛИСТЬЕВ»

А.И. Фомин

Аннотация

В предлагаемой статье анализируются некоторые лексико-стилистические особенности, характерные для текстов медитативной (лирико-философской) прозы В.В. Розанова. Внимание обращено именно на те явления, которые в розановском тексте выполняют частные, локальные задачи. На ряде показательных примеров рассмотрены приемы усиления образности лексической единицы, выражения авторской оценки, интимизации изложения, а также изображения *чуждого слова*.

Ключевые слова: локальный эффект, маркированная лексика, образ, оценка, символ, стилизация, стилистическая окраска, форма.

Общие замечания

Стилистически маркированная лексика активно используется в текстах лирико-философской прозы В.В. Розанова (имеем в виду в первую очередь опубликованные при жизни автора «Уединенное», «Опавшие листья. Короб первый» и «Опавшие листья. Короб второй и последний», а также воспроизведенные ныне по рукописям последующие тексты этого жанра). Однако использование экспрессивно окрашенной лексики не создает в *целом* текста постоянной стилистической окраски. Чередующиеся тексты-«листья», включающие сильно разнящиеся в стилистическом отношении единицы лексики и фразеологии, обычно не соотносятся между собой по этому основанию, а потому экспрессия текстовых фрагментов, содержащих маркированную лексику, не дает оснований говорить о специфической окраске *всего* текста. Не в большей степени придают тексту общую «разговорную окраску» и оценочно-экспрессивные словообразовательные средства, на частоту использования которых нередко указывают исследователи творчества Розанова (см., например, [1]). Тем более несправедливо приписывать создание особой разговорной тональности текста «разговорно-просторечным словам» с преимущественно отрицательной оценкой. «Экспрессия грубости и даже бранности» [1, с. 88] единиц номинации не тождественна устным интонациям произведения. Частые и разнообразные «редакторишки», «кулачищи», «горяченькое», равно как и иные стилистически маркированные лексические средства, решают *локальные* задачи (помимо естественного усиления экспрессивной значимости отдельной лексической единицы)¹. Назовем некоторые

¹ Значительно важнее то, что использование соответствующих форм нередко противоречит общему характеру текстового фрагмента. Ср. усложненно-книжный строй фразы, включающей, однако, разговорные формообразование и фразеологизм: *Революционеришки знают, где раки зимуют, хотя и о князе, жестоко*

из них: 1) усиление образного звучания маркированной единицы; 2) выражение авторского отношения к конкретному объекту; 3) интимизация конкретного текстового фрагмента; 4) воспроизведение «чужого» голоса. Нетрудно заметить, что названные задачи *нерядоположны* – они могут совмещаться в одном элементе текста; кроме того, только в отношении последней из указанных задач можно с уверенностью говорить об авторском решении осознанно поставленного стилистического задания. В остальных случаях рефлексии автора остаются возможными, но не обязательными; иными словами, в этих словоупотреблениях мы вправе равно предполагать и реализацию авторского намерения, и автоматизм экспрессии.

Но на уровне микротекста (подчеркнем – микротекста как контекста, а не как *целого* текста) стилистически маркированная лексика оказывается средством весьма значимым. Скажем конкретнее: арсенал этих средств включает традиционные для стилистических заданий *отношения-оценки* слова со стилистически окрашенными формантами, слова, в лексическое значение которых входит оценочный компонент, наконец, разговорно-сниженную лексику. В большинстве случаев использование указанных форм можно рассматривать как обращение к ресурсам стилистической синонимии. Стилистически нагруженными являются также слова и формы, новообразованные Розановым. В состав стилистически значимых элементов розановского текста входят и слова, относящиеся к ограниченной в употреблении лексике. Особенностью розановского текста является обусловленное смысловыми задачами использование определенных лексико-тематических групп, приобретающее и стилистическую значимость в силу их нагруженности специфическими именно для розановских «листьев» смыслами; для примера укажем на тематическую группу, связанную с понятиями публицистики и массовой печати (*газета, журналист, печать* и др.).

Отображать и истолковывать все стилистические явления розановских «листьев» вряд ли целесообразно. Их роль в создании общей выразительности текста неравноценна, как неравноценна и их значимость для характеристик языка и идеологии «листьев». А потому далее обсудим лишь указанные выше четыре типа функционально обусловленного использования маркированной лексики.

Усиление образного звучания лексической единицы

Названная задача и ее решение в розановском тексте не самоценны: яркие значения используемых лексических единиц призваны в «листьях» углубить смысловое содержание. Соответствующий эффект обыкновенно достигается за счет нетривиальной сочетаемости сопряженных единиц номинации. Например: «Я пролетал около тем, но не летел на темы. Самый полет – вот моя жизнь» (Кор. 1, с. 90); «**Покорить любовь закону брака.** И все в этом задыхаются» (Кор. 2, с. 279)¹. Собственно же лексическое значение усиливает передаваемую экспрессию в случае употребления слова с интенсивным значением. Ср. некоторые примеры: «Писательство есть Рок. <...> Писательство есть несчастье.

нуждавшемся, тоже нельзя не заметить, что он знал, «где раки зимуют» (Мим. 1914, с. 233). Такие факты – свидетельство определенного отношения к стилистической форме текста (см. далее по тексту).

¹ Все полужирные и курсивные выделения, а также дефисная разрядка слов здесь и далее принадлежат Розанову.

<...> ...И, может быть, только от этого писателей нельзя судить *страшным* судом... *Строгим-то* их все-таки следует судить» (Кор. 1, с. 95). В данном случае мы обращаем внимание не на метафоричность, коей (как качества) при тщательном рассмотрении любого текста оказывается, что естественно, значительно больше, нежели при выборках метафор как художественного средства¹. Важно, что употребляемая лексика представляет задающий метафору признак, гипертрофируя его за счет использования интенсивной семантики. Эта гипертрофия смыслового звучания выбранной лексической единицы может быть настолько значительной, что требует авторского пояснения, ср.: «Иногда чувствую что-то чудовищное в себе. И это чудовищное – моя задумчивость. Тогда в круг ее очерченности ничто не входит. Я каменный. А камень – чудовище. Ибо нужно любить и пламенеть» (Кор. 1, с. 175).

Другой способ усиления образного звучания слова – создание словообразовательными средствами окказиональной лексической единицы. Речь, действительно, идет именно об окказионализме – единичном и уместном лишь в данном контексте средстве. Ср.: «Я не враждебен нравственности, а просто “не приходит на ум”». Или отлипается, когда (под чьим-нибудь требованием) ставлю тему» (Кор. 1, с. 128); «Я чувствую, что *метафизически* не связан с детьми, а только с “другом”. Разве с Таней... И, следовательно, связь через рождение еще не вхлестывает в себя метафизику» (Кор. 2, с. 245); «Животных тоже он (Гоголь. – А.Ф.) нигде не описывает, кроме быков, разбодавших поляков...» (Кор. 2, с. 262); «Еврей находит “отечество” во всяком месте, в котором живет, и в каждом деле, у которого становится. Он въязвляется, врастает в землю и в профессию, в партии и в союзы» (Сах., с. 15). Показательно, что примеры представлены именно глагольными формами: окрашенное девиацией именное словообразование (равно и формообразование) в «листьях» носит в подавляющем большинстве случаев вполне системный характер.

Иногда автор, выделяя тем или иным способом слово или словосочетание, сам подчеркивает его отклонение от узуса, ср.: «Газеты, я думаю, так же пройдут, как и “вечные войны” Средних Веков. <...> Начнется, я думаю, с *отвычки* от газет...» (Уед., с. 24); «Что же стало с “русской реформацией”?!! Один купил яхту, другой ушел в нумизматику, третий “разлетается по границам”...» (Уед., с. 25); «...Странная черта моей психологии заключается в таком сильном ощущении *пустоты около себя, – пустоты безмолвия и небытия* вокруг и *езде*, – что я едва знаю, едва *верю*, едва *допускаю*, что мне “современничают” другие люди» (Уед., с. 68–69).

Различные способы актуализации звучания образа, его повышенной экспрессии, с нашей точки зрения, ведут к *категориальному* различию смыслов: если модификация значения слова словообразовательными средствами ведет к созданию яркой образности, то гипертрофия семантики, ее высокая интенсивность создает символическую перспективу. Соответственно, можно говорить о различии содержательных форм слова: образа и символа. Механизм возникновения этого различия видим в следующем: дериваты (чаще – префиксальные)

¹ Обратите внимание на пафос следующих замечаний общего характера: «Метафора возникает в силу глубинных особенностей человеческого мышления... метафора возникает не потому, что она нужна, а потому, что без нее невозможно обойтись, она присуща человеческому мышлению и языку как таковая» [2, с. 11–12].

несут семантику, созданную моделирующим взаимодействием значений корня и форманта, но ограниченную при этом обуславливающим смыслом контекста.

Выражение авторского отношения-оценки

Открытая оценочность в розановском тексте проявляется нередко, но собственно лексические средства здесь не играют ведущей роли: оценка обычно задается смыслом контекста. За этим явлением, впрочем, кроется одна любопытная закономерность: положительная оценка выражается обычно средствами развернутого контекста (на смысловом уровне синтагматической последовательности), тогда как отрицательные оценки чаще реализуются через обращение к коннотациям или прямой семантике отдельного слова¹. Соответственно, именно пейоративные значения наиболее показательны в отношении приемов стилистической оценки, создаваемой средствами лексики.

Что касается коннотативной оценочной семантики, вероятно, следует отметить в первую очередь формообразовательную *раскрепощенность* автора: речь идет об активности различных образований с суффиксами субъективной оценки². Приведем несколько примеров: «...“Стишки” пройдут, даже раньше, чем истлеет бумага» (Уед., с. 83); «...Та энергишка, которую – тоже издробленную уже – суют авторы в газеты...» (Кор. 2, с. 229). Автор совершенно не затрудняется в использовании соответствующих средств по отношению к порицаемому или отрицательно оцениваемому предмету. В большинстве случаев речь идет о негативной оценке явлений и персонажей, будь то конкретные люди или обобщенные носители определенного качества. Например: «Почему “Пью за здоровье Мери” хорошо, а “как я ненавижу социалистшек” – не хорошо?» (Сах., с. 272).

Другая группа оценочной лексики – слова, в само значение которых входит понятие, подлежащее оценке или предполагающее ее. Круг такой лексики широк: в него входят слова с прямой номинацией этического качества (как признака, субстанции или его носителя), метафорические обозначения тех же качеств, для «листьев», кроме того, характерно использование устойчивых литературных и актуальных историко-культурных типов³, а также ставших устойчивыми в авторском идиолекте символов. Вот некоторые примеры: «На полемике с дураком П. С. (Струве. – А.Ф.) я все-таки заработал около 300 р.» (Уед., с. 48); «По фону жизни проходили всякие лоботрясы: зеленые, желтые, коричневые, в черной краске...» (Уед., с. 58); «...Идите же, идите, *зуще* идите, Гри-

¹ Наиболее очевидное объяснение данной закономерности состоит в том, что положительная оценка интеллектуализирована (и, соответственно, предполагает развернутый контекст), тогда как отрицательная в большей степени подчинена эмоции, что и предполагает актуальность употребления именно экспрессивных единиц.

² Говоря о формообразующей (а не словообразовательной) функции этих формантов, мы ориентируемся на мнение В.В. Виноградова (см. [3, с. 97–98]).

³ Вот пример слова-оценки, выхваченного автором из социального контекста – современной ему уголовной истории, одного из участников которой – П.П. Обриен де Ласси – сообщники звали *Бранделясом*; ср. также данную Розановым мотивировку слова: «“Бранделяс” (на процессе Бутурлина) – это хорошо. Главное, какой звук... есть что-то такое в звуке. Мне более и более кажется, что все литераторы суть “Бранделясы”. В звуке этом то хорошо, что он ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству он особенно и приложим к литераторам. “После эпохи Мерovingов настала эпоха Бранделясов”, – скажет будущий Иловайский» (Уед., с. 39). Слово укоренилось в розановском идиолекте, ср.: «...Слова, *написанное* – всё самая обыкновенная журналистика (“бранделясы”))» (Уед., с. 72).

горий Петров, и Амфитеатров, и “Копейка”, и Боборыкин, и все вы, сонмы Бобчинских. Идите и затопляйте все. Ваш час пришел. Располагайтесь и празднуйте» (Кор. 2, с. 330); «... И все-таки “истина” – осталась. Отвратительная – но истина» (Сах, с. 9); «Как задавили эти негодяи Страхова, Данилевского, Рачинского... задавили все скромное и тихое на Руси, все вдумчивое на Руси» (Сах., с. 18); «...“Умер бы Родичев” – и только одной трещоткой меньше бы трещало на Руси» (Сах., с. 46).

Здесь заметим, что в последующих книгах «листьяев» в прямой связи с ростом их публицистичности не только увеличивается количество оценочной лексики, но и возрастает степень категоричности и пейоративности, ср.: «Но что же такое Кугель? Негодяй. Это все знают. Черный, грязный и отвратительный. Да, но он “радикал”, то есть передовой» (Мим. 1915, с. 100); «...У нас именно появилось гениальное в мерзостях. Раньше мерзость была бесталанна и бессильна. К тому же ее естественно пороли. Теперь она стала сама пороть («обличительная литература»). Теперь Чичиковы *стали* не только обирать, но они стали учителями общества» (Посл. 1916, с. 26); «...Рассмотрим же суть и прелесть природы. Да, она прелестна, но чем: прежде всего – не утомительна, не имеет этой подлости человека – утомлять собою» (Ап., с. 323).

Отметим любопытное явление: частотность (среди пейоративов) уже приведенного в одном из данных выше примеров слова *дурак*, о чем следует сказать подробнее. Розанов не эксплуатирует множественные историко-культурные коннотации слова, но относит его обычно (как оценочный предикат) к идеологически неприемлемым персонажам¹, ср.: «...Я взял привычку молчать (и вечно думать). Все молчу... и все слушаю... и все думаю... И дураков, и речи этих умниц...» (Уед., с. 71); «...Раз в печати я сказал, что Желябов был дурак...» (Кор. 1, с. 114); «“Не хочу говорить правды”. Что вы за дураки, что не умеете отличить правды от лжи; почему я для вас должен трудиться?» (Кор. 2, с. 263). В последующих текстах-«листьях» слово *дурак* в указанной функции представлено столь же часто, ср. некоторые примеры: «Потом завыл этот Керенский, до того дурак, что я такого не слыхивал, и в *литературном* обществе было неприлично слушать» (Мим. 1914, с. 205); «...Не нашлось, кто зычным ломоносовским языком сказал бы ему “всероссийское” ДУРАК. (о Чернышевском)» (Мим. 1915, с. 41); «“Папа, я не понимаю: как мне приготовить характеристику Петра Великого” (Вася). – Я сказал: твой учитель дурак, и, пожалуйста, не готовь ему никакой “характеристики П. Вел.”» (Сах., с. 206); «Дурак. Хоть бы ты подумал, что произносишь свои подлые слова о России на том языке, которому тебя выучили отец и мать» (Сах., с. 209); «Только в тепле что-нибудь вырастает. В холоде ничего не вырастает. <...> А революция – холод. Дураки этакие: как же вы выдумали что-нибудь вырастить через революцию?» (Посл. 1916, с. 218).

То, что использование слова *дурак* в отношении идеологически враждебных персонажей и тенденций имеет мировоззренческую подоснову, подтверждается

¹ Точнее, его употребления отражают интересную тенденцию: слово *дурак* используется как своеобразный эвфемизм, заменяя пейоративы, содержащие осуждение, к примеру по мотиву идеологического толка. Сказанное можно пояснить подобным же словоупотреблением, которое (как системное) автор данной статьи наблюдал в частных беседах с Л.Н. Гумилевым; общим мотивом такого использования всякий раз было желание не упрекнуть «пороком», а указать на «недоумие» с аргументирующей отсылкой к мотивирующему значению греческого слова *покаяние* – ἡ μετανοία: μετανοέω – ‘передумываю’.

и втягиванием в сферу соответствующих номинаций слов либо парафраз того же семантического поля, ср.: «В VII классе гимназии, читая его (Спенсера. – А.Ф.) “О воспитании умственном, нравственном” и еще каком-то, я был (гимназистом!!) поражен глупостью автора, – и не глупостью *отдельных мыслей* его, а – тона, так сказать – самой *души* авторской» (Кор. 1, с. 116); «...Передо мной вырастает из земли главная тайна Гоголя. <...> Я не решусь удержаться выговорить последнее слово: идиот. Он был так же неколебим и устойчив, так же не «сворачиваем в сторону», как лишенный внутри себя всякого разума и всякого смысла человек» (Кор. 1, с. 118); «...Самонадеянные глупцы, только самонадеянные глупцы... И, пожалуй, только самовлюбленные политики. <...> (*Чернышевский, Михайловский, Иванов-Разумник о религии*)» (Сах., с. 132); «Все его “иностранные книжки” – были чепуха...» (Уед., с. 31); «Какая же чепуха эти “Солнечный город” и “Утопия”: суть коих вечное *счастье*» (Кор. 1, с. 104); «Именно он (Герцен. – А.Ф.) есть основатель политического пустозвонства в России. Оно состоит из двух вещей: 1) “я страдаю”, и 2) когда это доказано – мели, какой угодно, вздор, все будет “политика”» (Кор. 2, с. 276).

Особенностью, связанной уже с чертами языка автора, является частое использование оценочных слов, актуализирующих не признаковое, но субстанциональное значение и тем самым *онтологизирующих оценочность*, наподобие следующих: «Гнусность печати, может быть, имеет великую и святую, *нужную* сторону: “Проходит лик мира сего” (Достоевский)» (Кор. 2, с. 330); «...Что же это за помесь **Безумия** и **Подлости**, что когда убили Александра II, который положил же свой **Труд** и **Пот** за Балканы, тот же Струве не выдавит из себя ни одной слезинки за Государя, ни одного доброго слова на его могилу, а льстиво и лакейски присюсюкивает у Желябова...» (Кор. 2, с. 367).

Интимизация изложения

Что касается интимизации изложения, здесь имеем в виду регулярные для «листьев» интонации доверительного обращения к читателю или искренней саморефлексии. Речь, таким образом, идет не о диалогическом сближении с предполагаемым читателем, а об открытии интимной сферы авторского «я». Значимость этого обстоятельства заключается в том, что встреча в близком контексте разговорных и книжных средств оказывается регулярным «нейтральным» стилистическим явлением розановского текста. Соответствующими средствами являются в первую очередь суффиксальные формообразования. Вот некоторые примеры: «...Церковь старая-старая, и дьячок – “не очень”, все с грешком, слабенькие. А *тепло только тут*» (Уед., с. 75); «Вхожу через два года, отдать Б. долгишко (рублей 70) за монеты» (Кор. 1, с. 100); «...Вся, “от голых ножек” до русо-темных волос (ах, на них всех – беленький бумажный платочек), – стала мне необыкновенно миньютюрна, беззащитна...» (Сах., с. 40).

Другая группа используемой в рассматриваемой функции лексики – это слова, призванные именовать глубоко личные, обыкновенно скрываемые эмоции человека: «...“Человек умер”, и мы даже не знаем – *кто*: это до того ужасно слезно, отчаянно... что вся цивилизация в уме точно перевертывается, и мы не хотим “Атиллы и Иловайского”, а только сесть на горбик (†) и выть на нем униженно, собакою...» (Уед., с. 82); «В сущности, я ни в чем не изменился

с Костромы (лет 13). <...> Та же почти постоянная грусть, откуда-то текущая печаль, которая только ищет “зацепки” или “повода”, чтобы перейти в страшную внутреннюю боль, до слез... Та же нежность, только ищущая “зацепки”» (Кор. 1, с. 154); «Какими-то затуманенными глазами гляжу я на мир. <...> И как росинки откуда-то падают слезы» (Кор. 2, с. 366). Способствует интимизации и такая особенность розановского текста, как эгоцентрическая ориентированность лексики, в силу чего слова *душа*, *слезы*, *плач*, *молитва* и подобные выполняют не описательную, но исповедальную функцию.

Нужно заметить и следующее: значительная часть «листьев» окрашена описанием Друга (жены Розанова – В.Д. Буягиной) или прямым обращением к ней – вероятно, единственному их герою¹ (в нелитературоведческом значении греческого слова). Названный факт – тематическая интимизация – находит выражение в конкретных стилистических формах. Рассмотрим ряд примеров. Прежде всего, это введение и регулярное использование элементов, которые можно отнести к «семейному» языку. Таковы слова *друг* и в особенности *мамочка* (*мамочкин*), а также *бродулька*. Ср.: «Мамочка не выносила Гоголя и говорила своим твердым и коротким: – Ненавижу» (Кор. 2, с. 293); «Вечером не сказал, а завтра перед завтраком: “Мамочка, я купил себе обновку”» (Кор. 2, с. 297); «И бредет-бредет моя бродулька по лестнице...» (Уед., с. 77); «Ах, моя бродулька, бродулька: за твердую походку я дал бы тысячи... и *за все здоровье* отдал бы *все*» (Уед., с. 77); «Вот идет моя бродулька с вечным приветом...» (Сах., с. 51).

Следует назвать еще два обстоятельства, обеспечивающие в целом интимную интонацию розановских «листьев»: тематические группы конкретно-вещных слов и значительный удельный вес слов оценки. Не являясь собственно средствами интимизации, указанные лексические группы обеспечивают ее в соответствующем контексте.

Что важно, эффект интимизации достигается в регистре общей «интеллигентски-бытовой» тональности языка² лирико-философской прозы Розанова. Таким образом, интимность (доверительность и искренность) тона «листьев» можно рассматривать и как качество «интеллигентски-бытового» стиля.

Экспрессивное изображение «чужого слова»

Прежде всего следует отметить, что в розановском тексте подчеркнутое изображение «чужого слова» всегда направлено на усиление экспрессии, а не на характеристику вводимого персонажа, поскольку самого персонажа как героя некоего повествования, разумеется, нет. Отдельные микромонологи реально существующих лиц (например, Флоренского или Страхова) важны содержанием, но не являются текстами-характеризациями говорящего субъекта. То же можно сказать о репликах литературных героев и исторических лиц, помня, однако, что

¹ Ср.: «И между тем во мне есть “дыханье”. “Друг” и дал мне возможность дыхания» (Кор. 2, с. 209). Событийная канва и розановские рефлексии, относящиеся к “Другу”, исчерпывающе представлены в работе И.А. Едошиной (см. [4]).

² Предлагаемое определение создано комбинированием соответствующих характеристик, данных В.В. Виноградовым языку различных форм художественной прозы в соотнесенности с “социально-языковой системой” (см. [5]).

такие персонажи сами оказываются вполне определенными символами, в которых переплетены розановская интерпретация и историко-культурная традиция¹.

Наиболее простой способ характеристики говорящего субъекта – включение в его речь соответствующим образом маркированной лексики. Приведем некоторые реплики, розданные автором различным социальным персонажам, часто появляющимся в его текстах: священнику, полицейскому, «жертве общественного темперамента» и адвокату. Поскольку «чужое слово» (в том числе и в полемических контекстах) значительно чаще и ярче звучит в последующих книгах «листьяев», ряд примеров взят именно из них, ср.: «Но люблю кварталину. Вот истинный демократ. Не смущаясь величием “Людовика” (революции. – А.Ф.), кричит осипло: – Рожу размножу!! Береги, миленький, стой, миленький» (Мим. 1915, с. 28); «...Говорили: “Нет, скорее – *мы обижаем*. Иная стерва не заплатит хозяйке и уйдет. Что с ней сделаешь? Где искать ее?”» (Посл. 1916, с. 155); «Какие добрые бывают (иногда) попы. Иван Павлиныч взял под мышку мою голову и, дотронувшись пальцем до лба, сказал: “Да и что мы можем знать *с нашей черепушкой?*” (мозгом, разумом, черепом)» (Кор. 2, с. 207). Подчеркнуто фамильярная ласковость священника *сосредоточена* в маркированном слове, которое тяготеет к *семейному* языку, ср. также характерную форму местоимения: «Но вышел адвокат и сказал: – Я говорю принцип, потому что я философ. Оставим подробности и факт, обратимся к идеям. В науке более и более устанавливается тезис, что “наказывать” значит “двоить” злодеяние. <...> Адвокат пересчитал кредитки» (Мим. 1915, с. 73). Стилизация опирается на использование книжной и тематически близкой лексики: *принцип, идеи, философ, наука, тезис, злодеяние*. Отметим и грамматическую особенность: подчеркнуто некорректное использование делибератива в форме прямого дополнения *говорю принцип*.

Обладавший чутким ухом Розанов особенно охотно воспроизводит и имитирует характеризующие особенности устной речи (чаще этот прием также встречается в последующих книгах «листьяев») и тем подчеркивает повышенную экспрессию устной речи. Мы имеем в виду как изображаемые орфоэпические особенности социолекта, так и аффицирующее произношение персонажа. Ср. некоторые примеры: «...Лежит на животе, положив руки под голову, девчища, – судя по апатичному, ленивому и простонародному лицу – “торговая” девица. “Мне бы положьте три цалковых, а зачем тебе это надо – не мой антерес”» (Мим. 1915, с. 122); «Он показал Павлу Ивановичу конюшню, в которой стояли ве-ли-ко-ле-пны-е лошади. – Так ведь *стояли*, а теперь их *нет*, – изумился Чичиков. На этот раз изумляется Ноздрев-идеалист и упрекает реалиста

¹ Согласно утверждению Ж.В. Пушкиревой, «Персонажи “Толстой” и “Добчинский” не являются самостоятельными субъектами текста, их позиции смещены в план авторской речи и сознания» [6, с. 101]. Сказанное, на наш взгляд, справедливо; сделаем лишь следующие замечания: 1) и тот и другой персонаж, равно как и социальные, национальные, этические типы, суть символы розановского текста; 2) некоторые лингвостилистические отличия в «подаче» реальных и условных (или сконструированных) персонажей все же есть: в розановских текстах нам не встретились стилизованные «фабрикаты» прямой речи Толстого (равно как и Достоевского, Страхова, Суворина, других авторитетных героев Розанова, исключая, впрочем, К.Н. Леонтьева), тогда как оценка и значимые качества или по крайней мере создание образа-представления при изображении «расходных» персонажей часто опираются на соответствующие стилизации (см. далее по тексту).

Чичикова: – Так что же, что “нет”: но **ка-кие** это были лошади...» (Мим. 1914, с. 221)¹.

Заметно, что реплики, характеризующие говорящего, и ближайший контекст, включающий элементы сюжетного повествования, создают подобие сказовой формы².

К отображению «чужого голоса» относятся и характеризующие фонетические искажения речи. В одних случаях соответствующая корреляция подкрепляет общий посыл автора, имеющий к тому же оценочный характер. Так, розановские претензии относительно интеллектуальной и духовной инфантильности Думы отливаются в сложный образ, реализуемый через оценочную номинацию и характеризующую прямую речь. Ср.: «А “наш 5-тилеток” (Государственная Дума. – А.Ф.) сейчас же заявил: – Я, па-па-ся, у-сех сильнее» (Кор. 2, с. 337).

Характеризующая орфоэпическая деталь может относиться также к определенной социальной роли говорящего или к особенностям интонационного акцента, ср.: «...И остался “верным” один полицейский Дегаев. <...> – Па-ста-ранись!!! Лорис во дворец едет!!!» (Мим. 1915, с. 125); «Персиянин, весь приседая от страха, начал. – Был сад. И в нэм дэрево. И длинная, длинная тень от того дэрева. Тут я увидел мальчика... такого маленького... И хорошенького... И глазки как у газэли...» (Посл. 1916, с. 67).

Однако во многих случаях характеризующая орфоэпическая деталь менее связана с конкретным персонажем как социальным или этническим типом и приобретает общеиллюстративный характер, сближаясь тем самым со средствами чистой экспрессии. Ср.: «Посему я думаю, что сродства с “демонизмом” (если он есть) у меня вовсе нет. “Бла-а-ду-шнейший человек”» (Кор. 2, с. 360).

* * *

Есть ли что-то общее в рассмотренных выше нескольких приемах использования экспрессивных единиц лексики? Полагаем, можно ответить утвердительно и тем подчеркнуть следующие особенности розановских «листьев»: автор нимало не затрудняется в выборе средства, представляющегося в данном контексте оптимальной экспрессемой. Руководящим в этом выборе принципом становится ориентация на максимальную выразительность не формы – но содержания микротекста; скажем иначе, перед нами направленность исключительно на *стилистический смысл* фрагмента. При этом автор не стремится учитывать стилистику ближайшего контекста, то есть соображения «стилистической формы» в розановских «листьях» не принимаются во внимание как фактор построения текста. Эта черта, прослеженная нами лишь на сегменте стили-

¹ Попутно отметим, что соответствующей сцены у Гоголя нет, ср.: «Потом Ноздрев показал пустые стойла, где были прежде тоже хорошие лошади» (М.д., с. 72). Розанов сам выписывает диалог (потребовавшийся для экскурса в русские общественные обстоятельства), обозначая его участников *реалист* и *идеалист*, и характеристически противопоставляет (средствами графики) аффицированное произношение («Ноздрева-идеалиста») («**ка-кие**» и «ве-ли-ко-ле-пны-е») логическим ударениям на экзистенциальных словах («*стояли*» и «*нет*») «реалиста Чичикова».

² Ср. замечания В.В. Виноградова о возможности появления в тексте отдельных фрагментов со сказовой окрашенностью; так, о завершающих главах «Левши» говорится: «авторская речь становится основным фоном, на котором, как юмористические цитаты, выступают фразеологические отголоски сказа...» [7, с. 128].

стической системы лирико-философской прозы, есть рефлекс ее общей стилистической характеристики – **примата смысла над формой**.

Summary

A.I. Fomin. On Some Lexical-Stylistic Features of Rozanov's "Leaves".

The article regards some stylistic peculiarities related to vocabulary, which are typical for the texts of meditative (lyrical-philosophical) prose by Rozanov. Particular attention is given to the phenomena performing local functions in Rozanov's text. Means of increasing the lexical unit imagery, expressing the author's estimation, making the narration more intimate, depicting the words of "the other" are revealed.

Key words: local effect, marked lexicon, image, estimation, symbol, stylization, stylistic marking, form.

Источники

- Ап. – *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени. – М.: Республика, 2000. – 429 с.
- Кор. 1 – *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб первый // *Розанов В.В.* Уединенное. – М.: Политиздат, 1990. – С. 87–202.
- Кор. 2 – *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб второй и последний // *Розанов В.В.* Уединенное. – М.: Политиздат, 1990. – С. 203–370.
- М.д. – *Гоголь Н.В.* Мертвые души. Том первый // *Гоголь Н.В.* Собрание сочинений в 8 т. – М.: Правда, 1984. – Т. 5. – 320 с.
- Мим. 1914 – *Розанов В.В.* Мимолетное. 1914 год // *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Когда начальство ушло... – М.: Республика, 1997. – С. 193–596.
- Мим. 1915 – *Розанов В.В.* Мимолетное. 1915 год // *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Мимолетное. – М.: Республика, 1994. – С. 5–334.
- Посл. 1916 – *Розанов В.В.* Последние листья. 1916 год // *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Последние листья. – М.: Республика, 2000. – С. 5–236.
- Сах. – *Розанов В.В.* Сахарна // *Розанов В.В.* Собрание сочинений. Сахарна. – М.: Республика, 1998. – С. 5–272.
- Уед. – *Розанов В.В.* Уединенное // *Розанов В.В.* Уединенное. – М.: Политиздат, 1990. – С. 21–86.

Литература

1. *Карташова Е.П.* Стилистика прозы Розанова. – М.: МПУ, 2001. – 373 с.
2. *Гак В.Г.* Метафора: универсальное и специфическое // *Метафора в языке и тексте*. – М.: Наука, 1988. – С. 11–26.
3. *Виноградов В.В.* Русский язык (Грамматическое учение о слове). – М.: Высш. шк., 1972. – 614 с.
4. *Едошина И.А.* «Друг» // *Розановская энциклопедия*. – М.: РОССПЭН, 2009. – С. 354–358.
5. *Виноградов В.В.* О художественной прозе // *Виноградов В.В.* Избранные труды. О языке художественной прозы. – М.: Наука, 1980. – С. 55–175.
6. *Пушкарёва Ж.В.* Авторское «я» в прозе Розанова // *Гуманитарный ежегодник: Сб. науч. тр. аспирантов и соискателей*. – Новосибирск, 2001. – Вып. 1. – С. 97–102.

7. *Виноградов В.В.* О языке художественной литературы. – М.: Гл. изд-во худож. лит., 1959. – 653 с.

Поступила в редакцию
17.01.10

Фомин Александр Игоревич – кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».

E-mail: *a-fmn@mail.ru*